

Александр ЖУРАВЛЁВ

ПРОДАВЕЦ СНОВ



16+

@ЭЛИТА



Александр Журавлев

Продавец снов

Электронное издательство "Аэлита"

2016

УДК 82-312.9
ББК 84-445(2Рус-Рос)6

Журавлев А.

Продавец снов / А. Журавлев — Электронное издательство
"Аэлита", 2016

ISBN 978-5-9905650-6-7

Действие романа происходит в 60-е годы в Москве. Юмор, мистика, исторические события недавнего прошлого России, – всё это собрано воедино под одной обложкой, погружая читателя в волшебный водоворот приключений, через которые автор ведёт своих героев. У судьбы нет любимчиков – она не выбирает, для кого сделать исключение, а подбрасывает героям разные ситуации, в которых им приходится балансировать между жизнью и смертью. Трусость и предательство, человечность и преданность – каждый несёт свой крест. Любовь и дружба проходят испытания, изменяя судьбы героев, открывая в них сущность человеческой души.

УДК 82-312.9
ББК 84-445(2Рус-Рос)6

ISBN 978-5-9905650-6-7

© Журавлев А., 2016
© Электронное издательство
"Аэлита", 2016

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	12
Глава 3	16
Глава 4	20
Глава 5	25
Глава 6	27
Глава 7	31
Глава 8	34
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Александр Журавлёв

Продавец снов

Глава 1

С севера на город надвигалась тяжёлая чёрная туча. Она расплзлась так быстро, что почти закрыла собой всё небо. Стало сумрачно. Пахнул пронизывающий до дрожи ветерок. Дождь не заставил себя долго ждать. Он хлынул стремительно, обрушился сплошной стеной. Будто туча была губкой, из которой невидимая рука выжимала многочисленные струи воды, и они, в переплетении дождевых нитей, протянулись к земле.

Шум дождя, бормочущий что-то своё в водосточных трубах, сливался в общую симфонию городских звуков. Машины, чихая моторами, проносясь по залитому шоссе, обдавали брызгами закутанных в плащи пешеходов, шипя шинами в ответ на крики толпы, быстро выстраивались в нескончаемую сутулую вереницу и, подавая тревожные сигналы, спешили скрыться от возмущённых взглядов в ненасытную пасть туннеля. Мутные потоки воды устремились к чугунным решёткам водостоков, унося на своих пенных гребнях разный мусор, скапливающийся в людных местах, где, на первый взгляд, некуда упасть даже яблоку.

Дождь мыл город, и его капли, словно брошенные семена, произрастали чистотой бульваров и улиц. Ливень прекратился так же внезапно, как и начался. Ветер, разорвав выжатую тучу на отдельные островки, погнал их дальше, к югу. На разлившуюся над Москвой лазурную акварель неба выкатился рыжий клубок солнца.

Из всей публики, высыпавшей после дождя на улицу, выделялись двое граждан. Более старший, Иван Стародубцев, состоял в МОСХе (Московский Союз художников) и слыл среди «своих» большим знатоком живописи и живописцем «на века». Другой же, помоложе, далёкий от МОСХа художник Семён Погодин, скитался по студиям и перебивался редкими заказами.

Не замечая под ногами луж, оживлённо беседуя, они прошли через бульвар и свернули в сквер. Обходя клумбу, усаженную тюльпанами, художники натолкнулись на молодую рыжеволосую особу. Сидя на корточках, она поднимала от земли побитые ливнем алые бутоны.

– Вряд ли они приживутся, – сказал, наклонившись над ней, Погодин.

– Как ухаживать, – невозмутимо ответила девушка, укрепляя ветками тонкие стебли цветов.

– Уверяю вас, как садовник садовника, они поломаны, и завтра же завянут.

– Вы правда садовник? – Она подняла на него большие зелёные глаза.

– Он шутит! – Стародубцев дёрнул за рукав Погодина.

– Тогда поверьте только что начинающему садовнику, – оправдался Погодин, смущённый её доверчивым взглядом. – Эти цветы, хоть и благодарны вам за вашу заботу, но будет лучше, если они поживут у вас дома в вазе, чем останутся увядать на этой клумбе.

– Да, да, и непременно поставьте их в отстоявшуюся дождевую или на худой конец кипячёную воду, – блеснул знаниями Стародубцев.

Семён подал очаровательной незнакомке руку и помог встать. Одета в лёгкое платье, будто сшитое из лоскутков весеннего голубого неба, она была хрупка как подснежник, пробившийся через проталину пожелтого снега. Забыв про всё на свете, он смотрел на неё как на чудо – во все глаза, не отпуская её руку, а девушка, не противясь этому, улыбалась в ответ.

– И как же вы вдруг стали садовником? – спросила незнакомка.

– Повезло, знаете ли! Как вас увидел, так им и стал, – ответил Погодин и, собрав с клумбы побитые дождём тюльпаны, протянул ей.

– Спасибо! – сказала она, принимая букет, и добавила, обращаясь к Стародубцеву: – Я непременно последую вашему совету.

Напоследок Иван Стародубцев пожелал чаще менять воду, добавляя в неё аспирин, а впоследствии не расстраиваться из-за неизбежного увядания, а сделать из них гербарий в память о случайной и такой трогательной встрече.

Семён Погодин же, в свою очередь, прощаясь, рассказал об экзотических растениях, в частности, о фаленописсах, и чем они отличаются от герани, и как они прекрасны.

Наконец, исчерпав весь запас знаний о флоре, художники, галантно откланявшись, направились к старой довоенной постройке. Жилой массив вырос из марева монументальной крепостью. Отделённый от дороги чахлыми тополями, он протянулся серыми кирпичными пятиэтажками, соединёнными между собой по фасаду высоким железным забором.

– Знаете, Иван, у меня такое чувство, что мы забыли что-то сделать, – сказал Семён, спускаясь в мыслях на землю.

– Полагаю, мы забыли представиться и спросить у этой незнакомки её имя, – проявил железную логику Стародубцев.

– Вот чей портрет я бы с удовольствием написал... Необыкновенно красивое лицо, а в глазах какое-то безмерное, просто вселенское одиночество, – с грустинкой в голосе сказал Погодин и оглянулся в сторону сквера.

– Возвращаться – плохая примета. Или вы с первого взгляда уже решили прожить с ней долгую и счастливую жизнь? Тогда давайте прервём нашу встречу. Однако при более близком знакомстве, я настоятельно вам советую, Семён, ни в коем случае не представляйтесь ей свободным художником, а то, мой друг, вас обязательно сочтут за бездельника или классового врага. Так что уж лучше оставайтесь для неё начинающим садовником. Семён, вы меня слышите? – Стародубцев заглянул ему в глаза.

– Да, да я вас слышу. Если это судьба, то мы обязательно встретимся, – предположил он. – Да и мир настолько тесен, что этого просто не может не случиться.

– А вы, Семён, как я посмотрю, лирик. Вам бы стихи писать.

Пройдя через открытые ворота, они подошли к дому и остановились возле подъезда. Погодин огляделся. Ему показалось странным, что во дворе как-то уж очень тихо, будто день давно перевалил за полночь, и в доме царит глубокий сон. Однако это впечатление рассеял появившийся из-за угла дворник. Одет он был весьма странно, и шёл не вальяжной гражданской походкой, а по-военному, чуть ли не строевым шагом. Больничный, длинный не по размеру зелёный халат едва прикрывал хромовые офицерские сапоги, а на его плече лежали грабли. Странный дворник, поравнявшись с художниками, бесцеремонно прощупал их взглядом и проследовал, как ни в чём не бывало, дальше.

Живописцы, не понимая, что это могло бы означать, молча переглянулись. Дворник, дойдя до конца дома, обернулся и, плутовато улыбнувшись, в мгновение скрылся в переулке. И, что удивительно, как только этот странный тип исчез, сразу же во дворе закипела жизнь. На улице появились люди, повылезли из своих укрытий собаки и кошки, в беседке, как обычно, старцы застучали в домино. Из открытых окон послышались голоса и музыка из радиоприёмников.

Художники зашли в подъезд. Справа от лестницы, ведущей к квартирам, находилась массивная ржавая дверь. На ней крупным печатным шрифтом, как на плакате, была выведена надпись: «Вход в убежище».

– Вот моя обитель, – сказал Погодин.

Отворив со скрипом громоздкую дверь, художники спустились по крутым ступеням в подвал. Ступив на бетонный пол, пошли по длинному коридору. Мрачноватое подземелье освещал тусклый свет лампочек, протянувшихся заляпанной гирляндой по влажному потолку.

Повернув за угол, художники натолкнулись на большую крысу. От такой неожиданной встречи Иван отшатнулся в сторону и упёрся плечом в дверь с табличкой «Мастерская». На которой был изображён скуластый череп, пронзённый вспышкой электрического разряда, с пугающей надписью: «Осторожно, убьёт». Серая тварь пискнула и уставилась колючими глазёнками на Стародубцева.

– Господи... – крестясь, прошептал Иван.

Крыса исчезла, но табличка осталась. И с неё так же нагло, как с пиратского флага, продолжал щериться на Ивана «Весёлый Роджер».

– Что это вы, батенька, не стоит так реагировать на мелочи, – сказал Погодин, поддерживая Стародубцева под руку.

Затем Семён достал дверной ключ и вставил в замочную скважину странной мастерской.

– Что за чертовщина? – выругался он.

Ключ застрял и не поворачивался. Все попытки открыть замок были тщетны.

– А ты говоришь – мелочи. Слесаря надо звать. Мы ещё не научились проходить сквозь стены, – сочувственно посетовал Стародубцев.

Выйдя во двор, они застали слесаря в беседке, в окружении почтенных старцев, увлечённых, как и он, игрой в домино. Слесарь азартно брякал фишками об стол, беспрестанно теребя свои рыжие с проседью усы. Косматые брови сдвинулись к переносице, что выдавало напряжённую мыслительную работу.



– Андрей Кузьмич, – позвал слесаря Погодин.

Кузьмич, не поднимая головы, отмахнулся от обращения, как от назойливой мухи, показывая всем видом, что отвлекать его в данный момент от любимого занятия по меньшей мере бестактно.

Напряжение за столом нарастало. Все, не моргая, смотрели на выложенную из домино чёрную пятнистую змею. Казалось, здесь собралась научная конференция, где колдуют над проблемой: оживёт она или нет.

Всё шло к развязке. Старцы заёрзали на лавках. Наконец один из почтенных долгожителей привстал и с размаху ударил по столу фишкой с такой силой, что змея, вопреки утверждению рождённой только ползать, подпрыгнула и разлетелась в стороны всеми своими сочленениями.

– Рыба! – пробасил глубокий старец.

– Ну, голубчик! Тоже мне, ихтиолог. Вам только в преферанс играть, – недовольно проворчал Кузьмич, выбрасывая на стол оставшиеся фишки.

– Андрей Кузьмич, – ещё раз позвал его Погодин. Слесарь отвёл возмущённый взгляд от любителя «рыбы». Его усы мгновенно взметнулись вверх.

– Ба! Какие люди! Семён, вы ли это? Глазам своим не верю.

– Признаться, я и сам порой не верю, что это я. Похоже, форма всё же обретает содержание, – ответил Погодин, здороваясь за руку.

– Всё шутите. А я уж думал, грешным делом, что вы, в вагончике «стольпинском», песню поёте про солнечный Магадан.

– Что ж так мрачно-то? Знакомьтесь, мой друг, художник Иван Стародубцев.

– А, ваш коллега по утопизму.

– По реализму, – уточнил Иван и, протянув руку, ощутил стальное рукопожатие слесаря.

– Вот я и говорю, по нему самому, живописец, значит, – Кузьмич расплылся в улыбке. – Рад, очень рад. Так чем обязан вашему визиту?

– В замок двери мастерской забили пластилин или замазку. Не открывается. Нужна ваша неотложная помощь, – Погодин протянул слесарю ключ.

– Замуровали замочную скважину! Так это же отлично! Никто подглядывать не будет. Ведь куда приятнее подглядывать за чужими пороками, чем, совершая свои, вдруг узнать, что подглядывают за тобой.

– Скрупулёзно подмечено, – согласился Иван, – но сейчас вопрос состоит в том, как попасть в мастерскую.

Кузьмич, озираясь, взял Погодина под локоть. И доверительно, почти на ухо, заговорил каким-то внутриутробным голосом:

– Вот вы, Семён, творческий человек, а я смотрю на вас и удивляюсь: неужели слепота – признак ума? Вы в своей мастерской, как подпольщик на явке шифруетесь. И всё по подвалам да по подвалам, будто от разоблачения ваших живописных талантов скрываетесь. Пора бы уж на свет божий, без этих заумных художественных ракурсов посмотреть, а то не успеете моргнуть, как поедете целину осваивать. Ха-ха – страшно? А что, вот где размах вашему реализму. Целые поля, да что там поля, просторы для творчества. Пиши – не хочу, хоть обрисуйся, одна кукуруза. Кругом один сплошной натюрморт. Поди, получше «Подсолнухов» Ван Гоговских будет. Вот размах так размах, одна «царица полей». Ха-ха! Вот реализм так реализм. Не жизнь, а тяжёлое похмелье. Вы, Семён, на меня не обижайтесь. Бегите, бегите отсюда, пока не поздно.

– Слышите, Иван, глас народа. Расту прямо на глазах. Из художника в диссиденты.

– Да, в этой жизни надо иметь здоровое чувство юмора, – кивнул Стародубцев.

– Эх, Семён, – Кузьмич похлопал Погодина по плечу, – ладно, если бы это касалось только ваших художеств. Ну, изгадили вы чистую холстину, перепутали лицо с задницей, но это ж не преступление. Что им, власть имущим, по пытливости ума сочли бы ваш сюр за сёр. Глядишь,

отделались бы лёгким испугом, загремели куда-нибудь – если не кукурузу рисовать, извиняюсь, так северное сияние живописать, зато живёхоньки.

– Кузьмич, хватит стенать, – остановил его Погодин.

– Так надо вроде бы вас как-то подготовить, – сказал Кузьмич и нахмурил брови.

– Уважаемый, говорите по существу. Краткость – сестра ... – начал было нести пламенную речь Стародубцев.

– Лубянки! – перебил его слесарь. – Эта барышня посерьёзней будет, коротка, как выстрел.

– Это вы к чему же клоните? – возмутился Стародубцев.

– Андрей Кузьмич, расскажите толком, что вы всё вокруг да около. Что случилось? – вмешался Погодин.

– Я всё это к тому, что, молвят, будто ваша мастерская никакая не мастерская, а фальшивомонетный цех.

– Бред! – изумился Погодин. – И, конечно же, я в ней изо дня в день ударными темпами печатаю золотые пиастры.

– Да, да. Именно так длинные языки и мелют, – понесло опять Кузьмича. – Сегодня с утра двое в штатском возле дома с граблями крутились. Явно не дворники. Кто ж граблями-то тополиный пух метёт. А когда появился третий с молотком, озабоченный такой, тут стало ясно. Вы меня понимаете? Страшно сказать. Он всё на свой указательный палец дул и в лужу его совал. Обещал дом с землёй сравнять. Когда же один из тех двоих сказал ему, что его палец не является личным достоянием, а принадлежит органам карательной власти, и при стрельбе его надо беречь, не жать на курок пистолета часто и сильно, а делать им плавный спуск, то потерпевший объяснил этому умнику, что если он, рожа беспартийная, будет рот разевать, то прицепом за шпионской сволочью покатит, и будет как стахановец до самой Сибири топку фальшивыми долларами кочегарить. А этот забугорный крамольник, рисовака подпольная, что героикку наших будней зелёной «липой» подрывает, у него в паровозную трубу вместе с пеплом вылетит.

– Забавно, очень забавно... – Погодин потёр пальцами виски. – Даже нарочно такое не придумаешь, из диссидента в фальшивомонетчики, да ещё и в резидента вырос.

– Да-с, экономику страны расшатываете. Лазутчик значит. Бегите, Семён, – слесарь многозначительно поднял палец вверх, – там разбираться не будут, и некролога в газетах не будет.

Они остановились возле мастерской. Скалившийся на табличке череп так же испытующе сверлил их пустыми глазницами.

– Ну, что? – спросил Кузьмич и, понимая важность наступившего момента, выжидающе посмотрел на художников.

– Открывайте! – сказал Погодин.

– Понял. Побег временно откладывается, до выяснения обстоятельств. Тогда – ключ на старт! Тэк-с! – Кузьмич потёр руки и, побряхтев с минуту, открыл злосчастный замок. – Пуск, – сказал он и толкнул дверь. Она медленно открылась. – Полёт нормальный. Свобода, мир, труд, май! – отрапортовал слесарь, повернувшись к Погодину, и вздохнул: – Эх, Семён, если сейчас не выпить, то сдохнуть можно.

Предложение было одобрено и поддержано пятью рублями и горстью мелочи. Слесарь, знающий «что? где? почём?» был выбран гонцом. Сверив время, Кузьмич подвёл минутное отставание своих наручных часов «Слава» и незамедлительно удалился выполнять возложенную на него задачу.

От распахнутой двери по полу мастерской пробежали седые пылинки. Клубясь, они слетались, будто мотыльки, к солнечному свету, пробивающемуся через зарешёченное окно, расположенное почти под самым потолком, на серой кирпичной стене.

В мастерской было четыре стареньких стула, низенький столик, на котором находилось лишь блюдо с огарком свечи, прямо над ним свисал подвешенный к потолку выцветший зелёный абажур. В углу, возле задрапированной холстом стены, стояла большая картина, скрытая под потрескавшейся клеёнкой. Там же лежали зарисовки, эскизы и незаконченные работы. Готовые же результаты творчества были закреплены в рамы и обхваченные верёвкой пылились у стены. Здесь же стоял мольберт, рядом с ним, на высоком табурете, лежала палитра с кистями, завёрнутыми в тряпицу.

У противоположной стены, под окном, стоял стеллаж. Разбитый на ячейки, он хранил краски, растворители, банки с кистями, клеем, скребками, лаки и прочий подручный материал и инструменты.

Погодин по-хозяйски пропустил вперёд Стародубцева и, притворив за собой дверь, шагнул в мастерскую следом.

– Хочу рассказать вам преинтереснейшую историю, – начал рассказ Погодин, приглашая присесть Стародубцева.

– Слушаю с большим вниманием, – устраиваясь за столиком, сказал Стародубцев.

– Месяц тому назад мою мастерскую посетил очень странный человек. Одет он был в серую тройку, идеально сидевшую на его статной фигуре. Золотая булавка стягивала углы белоснежного воротничка к узлу галстука цвета бордо. Чёрные с проседью волосы, зачёсанные назад, открывали высокий лоб, рассечённый между дугообразными бровями глубокой морщиной. Прямой нос. Тонкие губы. Волевой подбородок. Уверенный взгляд пытливых серых глаз, казалось, подчинял себе. Он заказал свой портрет во весь рост. Но заказ его был необычен тем, что писать портрет я должен был с его отражения в зеркале, при свечах.

– Что ещё за чудачество? – перебил удивлённый Стародубцев. – Это или большой оригинал, решивший внести разнообразие в монотонные будни, или этакий скупающий аристократ, развеивающий меланхолию.

– Да я и сам был крайне удивлён такому желанию. За работу он заплатил вперёд. Хотя я отказывался, говорил ему, что вознаграждение возьму только после того, как он лично оценит работу. Всего же этот гражданин посетил мастерскую четыре раза. Позировал без перерыва, по истечении двух часов всегда уходил, ссылаясь на неотложные дела. Во время работы на его неподвижном лице жили только глаза. Дело в том, что они постоянно меняли свой цвет.

– Как меняли? – изумился Стародубцев.

– Да, именно, они каким-то образом меняли цвет. Его серые глаза вдруг становились зелёными, и буквально фосфоресцировали, как два холодных изумруда, а то, спустя некоторое время, они уже светились рубиновым отливом. Проходило ещё немного времени, и его глаза были небесно-бирюзового, затем оливкового цвета. Но опять проходило время, и они уже светились тёплым золотым светом, вскоре темнели и оказывались вишнёвыми. Когда же время сеанса истекало, его глаза были прежними – серыми. И так повторялось каждый раз, как только я начинал писать его портрет.

– Просто невероятно. И какие же вы написали ему глаза? – взволнованно поинтересовался Стародубцев.

– Чёрные, чёрные глаза, как чёрные дыры Вселенной! – Погодин встал, прошёлся по мастерской, и, вернувшись, присел на край стола.

– И что же было дальше? Дальше-то что было? – торопил Стародубцев с рассказом и, сгорая от нетерпения, заёрзал на столешнице.

– Когда я объявил, что картина закончена, он изъявил желание посмотреть. Я не возражал, напротив, мне было интересно знать его мнение. Незнакомец подошёл к моей работе и, вскинув монокль, долго всматривался в портрет. Всё это время я стоял за его спиной. Моя душа не находила себе места. Почувствовав моё волнение, он повернулся. И тут меня окончательно поразило то, что его глаза в самом деле были теперь чёрными. Он посмотрел на меня

долгим пристальным взглядом. От этого взгляда у меня холодок пробежал по спине. И за всё это время в первый раз уголки его тонких губ чуть дрогнули и, застыв на какое-то мгновение, отразили странную улыбку. Незнакомец, явно довольный увиденным, кивнул головой и почти прошептал: «Да, вижу, что я в вас не ошибся. Беру!». Я попросил его зайти на следующий день, когда окончательно высохнут краски. Но с тех пор он так больше и не приходил.

– Так портрет у вас? – спросил Стародубцев, окидывая взглядом мастерскую.

– Да, он здесь, – ответил Погодин, указывая на закрытую клеёнкой большую раму, стоящую у задрапированной стены.

– Семён, с вашего позволения, я могу взглянуть на эту работу?

– Какие могут быть вопросы, извольте, – сказал Погодин, и, встав, пригласил художника: – Пожалуйста за мной.

Они подошли к стене, где стояла скрытая от посторонних глаз картина.

– Вот этот портрет странного гражданина, – и с этими словами Семён сбросил с рамы клеёнку.

Но какого же было его изумление, когда вместо ожидаемого портрета он не увидел совершенно ничего.

– А где же портрет? – удивился Стародубцев и вопрошающе посмотрел на Погодина. – Где портрет? – повторил он.

Погодин в растерянности провёл рукой по чистому холсту. Где ещё недавно находилось изображение, сейчас не осталось ничего, что говорило бы о его некогда существовании. Перед глазами Семёна была не просто голая грунтованная тряпка, перед ним была слепящая его своей белизной трагедия.

– Глазам своим не верю. Ничего не понимаю. Портрет же был здесь, не понимаю... – шептал, потрясённый произошедшим, Погодин.

– А может, его выкрали? – выдвинул гипотезу Стародубцев. – Ведь так просто, ни с того ни сего, он же не мог куда-то исчезнуть? Признайтесь, уважаемый Семён, вы явно меня разыгрываете?

– И в мыслях не было. Да зачем, собственно. Я и сам поражён случившимся. Просто теряюсь в догадках – как такое могло произойти?

Глава 2

Выйдя из подъезда, Кузьмич посмотрел по сторонам. Скамейки возле дома и беседка пустовали. Не было ни игроков в домино, ни старожилы, дремавших на лавочках в тени тополей, ни вечно шушукающих вслед старых перечниц, смакующих последние новости. Даже обычно открытые форточки, разносившие по двору ароматы приготавливаемой снеди, были плотно закрыты. Двор словно осиротел, из него ушла та обыденная привычная жизнь.

Кузьмич посмотрел на небо: ни грозы, ни дождя ничего не предвещало. Всё это крайне удивило его, но, не отягощая себя догадками, он не спеша проследовал по опустевшему двору и, повернув в переулок, направился к ближайшему магазину.

По дороге он встретил единственного до синевы небритого гражданина, тянувшего за собой на верёвке упирающуюся дворнягу.

– Эй, пролетарий, купи собачку! Недорого! Всего троячок, – прохрипел он, обращаясь к слесарю.

Слесарь остановился, прикинув в уме, зачем ему дворняга и сколько у него денег. Подытожив, решил, что дворняга ему не нужна, но её жаль, а денег хватает впритык. Но если взять одну бутылку и быть поскромнее с закусками, то это ещё не конец света, вполне можно свести концы с концами.

– Отпусти животное, душегуб. Они же братья наши меньшие, – возмутился он.

Мужик ссутулился, и, покосившись на собаку, пробурчал:

– Ну, тогда хоть рубль дай – отпущу.

– Эх, Россея! Когда же мы просить-то перестанем? – вздохнул Кузьмич и высыпал ему на ладонь всю мелочь.

На удивление Кузьмича, магазин был открыт и безлюден – ни очередей, ни продавцов. «Куда их всех черти подевали, неужели в стране сухой закон ввели? Вот уж это действительно конец света!» – с ужасом подумал он. Слесарь, всё же не теряя духа, подошёл к прилавку и, постучав о него, позвал:

– Есть кто? Обслужите!

Дверь подсобки скрипнула. Из неё вышла худющая продавщица. Имитируя бюст, она оттопырила на груди фартук, повернувшись к небольшому зеркалу, висевшему под вывеской «Пьянству – бой!» и «Вино и водка отпускаются после одиннадцати часов», поправила чепец.

– Чё орёшь, не глухая! – возмутилась она и воткнулась в него оценивающим взглядом.

– А чего никого нет-то? – словно оправдываясь, спросил Кузьмич.

– Собрание! К митингу завтрашнему готовимся, «О взятии повышенных обязательств», – торжественно ответила продавщица.

– А-а-а, – понимающе закивал головой слесарь. – Это правильное решение, товарищи!

– Тебе водки, что ли? – спросила она, и, пока слесарь туго соображал – что почём, пронищательно ответила за него: – Одну, значит?

– Да, – подтвердил Кузьмич.

Продавщица, не отрывая от него глаз, поставила на прилавок бутылку «Столичной».

– И закуски бы какой, – добавил он.

– Весь ассортимент на витрине, – отрезала она.

В ассортименте, под заляпанным стеклом от тыкающих в него пальцев, имелась «братская могила», то есть килька в томате, селёдка пряного посола и залежавшаяся колбаса «Любительская» с зелёным отливом.

– У вас тут осетров с крабами для антуражу не хватает, – съязвил, разглядывая витрину, Кузьмич.

– Ты мне ещё похами, а то я так пошучу, что мало не покажется, – и продавщица убрала под прилавок «Столичную».

– Нет, только не это! О, язык мой – враг мой! Жизни лишайте, но не лекарства от похмелья, добрейшая из добрейших, спасительница жаждущих глотка живительной влаги, – взмолился слесарь.

– То-то, здесь тебе не террариум, чтобы на экзотику пялиться, – смягчилась она и выставила обратно бутылку.

– Так и быть, селёдки мне взвесьте, – решил слесарь.

Продавщица с большой неохотой надела резиновую перчатку и полезла в стоящую у прилавка деревянную бочку.

– Мне бы с икрой! – размечтался Кузьмич.

– А не треснет? – что именно, она не уточнила, и добавила, продолжая гонять по кругу мутную жидкость: – На всех барышень не напасёшься.

Слесарь хотел было блеснуть остроумием, но, памятуя недавнюю шутку продавщицы, промолчал.

После долгих усилий продавщица наконец выловила ускользающую от неё селёдку и, посмотрев ей в глаза, заключила:

– Тебе повезло – это девочка.

– Жирна, – довольно сказал Кузьмич и ткнул пальцем в костлявое тело рыбы женской особи.

– Что нагуляла, – оскалилась продавщица.

Взвесив её и рассчитав Кузьмича, она оторвала кусок газеты и, скомкав в него селёдку, вручила покупку слесарю. Сложив весь товар в авоську, Кузьмич, радуясь жизни, поспешил обратно.

Подходя к дому, он вдруг подумал, что авоська пропахнет пряным селёдочным рассолом, щедро сочащимся через набухшую газету. Вынув покупку, и дабы освободить её от обильной влаги, Кузьмич потрянул свёрток. Газета лопнула, и скользкая особь распласталась на дороге. Кузьмич отлепил от асфальта ускользнувшую беглянку и обтёр носовым платком. Оглядев результат, и решив, что это более несовместимо с товарным видом, в сердцах запустил её с газетой в кусты.

За его спиной скрипнули тормоза машины.

– Что соришь, гражданин? – окликнул его строгий голос.

Обернувшись, Кузьмич обомлел. На дороге стоял грузовой фургон с надписью: «Мебель». Приоткрыв дверцу кабины, к нему обращался офицер с погонами комитета госбезопасности.

– Да я тут кошечкам покушать дал, – промямлил слесарь.

– А сам, что уже накушался? Или, я смотрю, всё мало.

– А, это... – Кузьмич потряс авоськой. – Так это на примочки, захворал малость.

– Слышь, хворый, где здесь дом с номером «8»? А то полчаса уже кружим.

– Да вот он! – Слесарь махнул рукой на фасад своей пятиэтажки.

– Как туда заехать? – спросил офицер, поправляя кобуру на поясе.

У Кузьмича кольнуло под ложечкой.

– За углом, – простучал он зубами. – Там ворота.

– Понятно... – сказал офицер и, оглядев слесаря с головы до ног цепким взглядом, добавил: – А ты, мужик, не создавай толпу, а то примочки не помогут.

Не чувствуя под собой ног, Кузьмич метнулся в переулок и на одном дыхании долетел до подъезда, в подвале которого располагалась мастерская Погодина. Не до конца прикрывая дверь, он выглянул наружу – машина въехала во двор. Из кабины выскочил офицер и, выхватив пистолет, скомандовал:

– Окружить дом, взять этих мерзавцев тёплыми или холодными.

Двери фургона распахнулись и оттуда посыпались вооружённые автоматами солдаты. К офицеру подскочил сержант. Козырнув, он передёрнул затвор автомата.

– Так каких брать-то? – спросил он.

Больше слесарь ничего не слышал. Внутри у него словно что-то оборвалось, в глазах потемнело, он кубарем скатился в подвал и ворвался в мастерскую с зажатой в руках авоськой, где обречённо трепыхалась бутылка «Столичной».

Художники переглянулись и с нетерпением уставились на слесаря. Немая сцена затягивалась, и с ней нарастал страх в глазах Кузьмича и бьющая его как током нервная дрожь, передаваемая содержимому авоськи.

Первым нарушил молчание Погодин.

– Да-а-а... – протянул он. – Это достойно сцены МХАТа.

Слесарь медленно обвёл взглядом присутствующих.

– К нам гости. Сейчас штурмовать начнут, – почти беззвучно прошептал он.

– Какие гости, что произошло? – встрепенулся Стародубцев.

Кузьмич «пожевал» нижнюю губу. Его ладонь скользнула по седому виску и опустилась к сердцу. Оно билось так, что бой кузнечного молота в сравнении с ним был тихим постукиванием чайной ложечки о стенки гранёного стакана.

– Влипли... – выдохнул слесарь.

– А точнее? – в один голос спросили художники.

– Куда уж точнее, дом окружён гэбэшниками.

На улице раздались крики команд и топот сапог. И вслед за недолгим затишьем, в громкоговоритель забасил гнусавый голос:

– Дом окружён. Предлагаю сдать. В случае сопротивления будем стрелять. Даю минуту на размышление.

– Может, это учения какие идут? – авторитетно предположил Стародубцев. – И вовсе не нас это касается. Отсидимся здесь, пока всё не кончится.

– Вы с ума сошли? – запротестовал Кузьмич, лихорадочно тыча пальцем себе в висок, но чаще попадая в ухо.

– Отсидимся! Как же, размечтались! Тоже мне подпольщики... Это вам не шалаш Владимира Ильича Ленина на озере Разлив. Хватит играть в марксистов. Вы ещё скажите, что с семнадцатого года здесь «Искру» печатаете. Да вас даже до Лубянки не довезут – тут же к стенке поставят.

– А может, обойдётся, – всё ещё впадал, но уже слабее, в оптимизм Стародубцев. – За окном всё же шестьдесят второй год, а не тридцать седьмой. Объясним, что мы законопослушные граждане, художники-соцреалисты.

– Ха, обойдётся! Видали, а? Может, конечно, сначала и обойдётся, шлёпнут не сразу, а прежде с большим пристрастием поинтересуются о ваших дальнейших творческих планах. Эх, был бы у меня сейчас пулемёт «Максим»!

– Чего мелочиться-то, тогда уж броневик, а лучше крейсер «Аврора», – съязвил Стародубцев.

Слесарь сверкнул на художника глазами.

– Как же всё-таки вам не даёт покоя моё пролетарское происхождение. Вот такие, как вы, реалисты, исказили дело и заветы Ильича, а теперь по подвалам прячемся. – Кузьмич сел на пол и, обхватив голову руками, почти застонал: – Ну почему всё это происходит именно сегодня, а не завтра?

– А почему не вчера? – перебил его стенания уже пессимистичный Стародубцев.

– Да бросьте вы! – безнадежно махнул рукой слесарь. – Почему, почему? Да потому, что вчера нас здесь не было, а завтра могло не быть вовсе. Так что весь этот волонтаризм мог быть без нас.

– Что вы, в самом деле, уважаемый, заладили – «Быть или не быть?» – вмешался в разговор Погодин. – Берите уж лучше пример с наших бессмертных классиков, скорее – «Что делать?»

– Бежать, чёрт возьми! Неужели вы ещё не поняли? – задохнулся от возмущения Кузьмич.

– Глубокая мысль, – ожил угрюмый Стародубцев. – Осталось дело совсем за малым – куда? Может вы, милейший, укажете нам этот светлый путь.

Слесарь покосился на живописца так, что без слов стало ясно, куда в данный момент он указывает путь.

Вдруг на лице Кузьмича отразилось удивление.

– А это что за дверь? Её вроде бы здесь не было.

– Какая такая дверь? – непонимающе переспросил Стародубцев.

Боясь спугнуть подарок судьбы, который вот-вот может исчезнуть, Кузьмич показал глазами за спины художников. Они оглянулись и увидели то, что не поддавалось объяснению. На холсте картины, где был изображён портрет, материализовалась дверь. Буквально на их глазах произошло очередное чудо.

– Что здесь, в конце концов, происходит? Может мне кто-нибудь объяснить? – взмолился Стародубцев.

– Свято место пусто не бывает, – взволнованно ответил Погодин.

Вдруг дверь открылась, легко, воздушно, как перевёрнутый лист календаря, закрывающий чёрную дату, оставляя в прошлом суету безумного дня, приближая загадочное будущее, сотканное из паутины забот и проблем. Открылась, открывая протянувшийся куда-то длинный коридор. И это необыкновенное, необъяснимое чудо впускало их в свою тайну, не оставляя выбора.

Наступившую тишину в мастерской разорвал мегафон:

– Ваша минута истекла.

Отдаваясь в подвале эхом, по бетону загрохотали сапоги.

Замешательство развеял Кузьмич.

– Как говаривал великий полководец: «По коням!» – ободряюще крикнул он и буквально влетел в открывшийся коридор.

– Стойте! – окликнул его Стародубцев.

– Что такое? Хотите остаться и сообщить товарищам чекистам о своих творческих планах? – поинтересовался слесарь.

– Оставьте вы это, – художник показал на бутылку «Столичной», – может, с этим туда нельзя.

– Да вы что, милейший, – запротестовал Кузьмич, – оставить здесь это... Вы в своём уме? Или смерти хотите, совсем от радости бдительность потеряли. Ха! Это же в два счёта даже невооружённым взглядом трезвенника сразу вычисляется, сколько нас здесь было.

– Ну, смотрите, я предупреждал, – сказал Стародубцев.

И они поторопились шагнуть в загадочную зовущую неопределённость, с надеждой на спасение и с верой в русское «авось».

Глава 3

Дверь за ними закрылась и исчезла, будто её не было вовсе. Они прошли по коридору и оказались в сумерках слабо освещённого помещения. Кроме одиноко пустующей вешалки, стоящей в углу, и белой двери с позолоченной ручкой, здесь не имелось ничего. Над дверью светило засиженное мухами зелёное пятно с ядовито-оранжевой надписью: «Служебный вход».

– Мухи! – нарушил тишину Кузьмич.

– При чём тут мухи? – переспросил Погодин.

– Как при чём?! Это же означает две вещи. Одна из них радует: здесь есть жизнь! Вторая же менее приятна, – продолжил истолковывать сомнительную примету Кузьмич, – теперь мы точно влипли!

– Послушаешь вас – и умом можно тронуться, куда ни кинься – кругом одни враги, – сказал Стародубцев.

Он подошёл к двери и подёргал за ручку. Дверь была заперта.

– Соблюдайте конспирацию, – хмурясь, предостерёг Кузьмич.

– Что за глупость? Может, мне ещё прикажете ветошью прикинуться и тухнуть в этом склепе? – возмутился Иван. – Нет уж, с меня хватит! – и он стал что есть силы стучать кулаком в дверь.

– Бога ради, успокойте своего друга, – обратился к Погодину Кузьмич.

– Как вы себе это представляете? – поинтересовался Семён.

Кузьмич, негодуя, показал на вешалку.

– Да вот, хоть бы ею. И раза так два-три успокойте.

Стародубцев резко повернулся и, сверля пальцем воздух в сторону слесаря, зашипел сквозь зубы:

– Вот! Вот она, классовая неприязнь. Мне надоели ваши дурацкие советы, меня тошнит от вашего идиотского толкования надуманных примет. И, более того, мне надоели вы сами.

– Третьим будешь? – вдруг раздался чей-то голос из тёмного угла.

– Что за чепуха? Каким это третьим? – в недоумении пробормотал Стародубцев, с тревогой всматриваясь в говорящую из угла темноту.

– Ну, если не хочешь быть третьим, будь тогда первым, – сказал тот же голос.

Недоумение художника было недолгим. Догадка занозой кольнула в сердце.

– Засада! – цепenea от страха, промолвил он.

Могильный холод пробрал Ивана до костей. В голове всё помутилось. Земля качнулась под ногами. Подоспевший Погодин едва успел подхватить его под руки.

– Прислоните его к стенке, – заботливо посоветовал тот же голос.

– Окружили, гады! – с горечью в голосе бросил Кузьмич.

Заслонив собой живописцев, он с криком «Но пасаран! Стреляй, сволочь!» – рванул на себе рубашку, и явил на свет, вытатуированных на груди, трёх синевородых отцов мирового пролетариата: Карла Маркса, Фридриха Энгельса и Ленина.



И под косые взгляды столпов материализма в мрачный угол пушечным ядром просвистела бутылка «Столичной».

Из темноты не раздалось ни выстрела, сотрясающего стены, ни крика, разрывающего воздух, лишь в сторону запасного выхода, по стене, скользнула тень. Но, налетев на застывшую глыбу силуэта, впечатанную в стену тенью Кузьмича, она отвалилась куском отсыревшей штукатурки и шлёпнулась на пол.

В происходящее невозможно было поверить. Этого просто не могло быть, но это было. Казалось, ещё мгновение и для них откроется какая-то великая тайна.

– Креста на вас нет, – рассеивая надежды, пробулькала жидкая кучка извести, источая запах «Столичной».

– Вот тебе и «Диалектика», вот тебе и «Исторический материализм», – прошептал Кузьмич, осенив себя крестным знаменем.

Вдруг распластанная субстанция оторвалась от пола и повисла в воздухе. Затем она стала вращаться всё быстрее и быстрее. Бешеный волчок заструился ярким светом, забрезжил всполохами огненных искр. И прямо на глазах у заворожённых беглецов из него, как чёрт из табакерки, появился вполне приличный гражданин приятной наружности, ростом выше среднего, с копной седых волос и с хитрым прищуром голубых глаз.

– Эйнштейн! – крикнул изумлённый Кузьмич.

– Вы кто? – осведомился у седовласого явления, усомнившийся в домыслах слесаря Погодин.

– Ангел! – ответил гражданин белозубой улыбкой.

– А где перья? – недоверчиво спросил Кузьмич.

– Крылья, – уточнил Семён, имевший более точное представление о библейской тематике.

– Крылья – это атавизм. И не святым духом я питаюсь, а пью и ем, нужду справляю. В общем, ничто мирское мне не чуждо. Ещё вопросы будут?

– Так что же, значит, мы уже того? – спросил полуживой Стародубцев.

– Не того... – Ангел закатил глаза, – а этого, – он покрутил пальцем у виска, – от страха совсем голову потеряли. Я тут было с предложением к вашей троице: не ломать дверь, а по очереди пройти в зал. А вы сразу «сволочь», да и бутылкой зачем швырять?

– Извиняемся, но вы тоже хороши. Ваше предложение прозвучало как построение на эшафот, – отпарировал Погодин.

– Что же делать, если у вас, у людей, всё по очереди, да по записи на каждом шагу. Да и в традициях всё на троих. – Ангел покосился на осколки «Столичной».

– Где мы, милейший? Растолкуйте нам, грешным, – взмолился Стародубцев.

– В галерее изобразительных искусств. Картина вашего коллеги стала тысячным пополнением коллекции. Её автор, – Ангел указал на Погодина, – и все вы являетесь почётными гостями выставки.

– Выходит, исчезнувший портрет – дело ваших рук? Тогда как же насчёт восьмой заповеди – «Не укради», или в вашем департаменте её не чтут? – спросил Семён.

– Не делайте поспешных выводов. Тот человек, посетивший вашу мастерскую и заказавший свой портрет, как и собиратель коллекции, одно лицо – это граф Сен-Жермен. Картина была им оплачена, все условия выполнены. С обеих сторон должников нет.

– Как? Не может этого быть. Неужели это был сам граф Сен-Жермен? Сюрприз за сюрпризом! – Погодин развёл руками. – Удивили так удивили. Я уж, признаться, был уверен, что этого мистика давно упокоила земля.

– Отнюдь нет. До тех пор, пока она вертится, он будет встречать на ней рассвет за рассветом. Так что сюрпризы только начинаются, – заверил Ангел.

– Коль всё так славно складывается, то скажите, уважаемый, в вашей галерее буфет имеется? – осведомился Кузьмич.

Ангел невозмутимо посмотрел на слесаря:

– Низко летаете! У нас трапезная, а не общепит.

– А водка у вас в разлив или в таре подаётся? – не унимался Кузьмич.

– Как пожелаете! Наливайте и пейте. Своя рука – владыка, – развеял сомнения Ангел.

– Что же вы раньше-то молчали, товарищ?! – с облегчением вздохнул слесарь. – Собственно, что мы здесь топчемся? По коням!

– Нет! И ещё раз нет! С меня хватит! – возразил Стародубцев. – Вы уж как знаете, а я домой и только домой. Незамедлительно! Снотворного, в постель – и забыться.

– Что ж, пусть будет по-вашему, – сказал Ангел. – Ну а вы, Семён Данилович, что решили?

– Извольте удивлять дальше, – ответил художник.

– Тогда вначале откушать в трапезной, или сразу в картинный зал променад совершить?

– Пожалуй, второе, – пожелал Семён.

– Это правильный выбор, – согласился Ангел и, посмотрев на Стародубцева, добавил: – Каждый выбирает дорогу себе сам.

– Вот и чудненько, правильно мыслите, как реалист, – вмешался Кузьмич, обращаясь к Ивану. – Вам лучше пить капли и соблюдать постельный режим. С вашей впечатлительностью даже третьим быть чревато, не то что первым. Да-с!

– А-а-ап! – скомандовал Ангел и щёлкнул пальцами. Стародубцев перевернулся в воздухе и в мгновение ока исчез.

– Класс! – с восхищением бросил Кузьмич. – Разрешите пожать вам руку, товарищ.

– За что такая честь? – удивился Ангел.

– Такого кульбита я ещё не видел, цирк просто отдыхает.

– Пустяки, займёмся более приятными делами. – Ангел открыл служебный вход. – Милости прошу или как говорят – добро пожаловать!

Глава 4

После того, как Иван Стародубцев был отправлен поправить пошатнувшееся здоровье, Семён Погодин, не раздумывая ни минуты, направился в картинную галерею. Слесарь же с Ангелом проследовали в трапезную.

В центре огромного зала стоял большой овальный стол, буквально ломившийся от изобилия разнообразных яств. Кузьмич сконфуженно помялся от такого эшафота чревоугодия, и сфокусировал блуждающий взгляд на графинчике с водкой.

– Водка «Монастырская» – чистойшая, как слеза, вкус подобен райскому нектару, – откомендовал её качества Ангел. – Наливайте и пейте себе, без всяких церемоний.

– Понял, – ответил Кузьмич, принимая предложение как руководство к действию.

Налив себе до краёв хрустальную рюмку, слесарь медленно оглядел через неё просившийся в рот ароматный «натюрморт» разврата.

– Чтоб я так жил! – вдохновенно произнёс он, пуская при этом предательскую слюну. И уже было собрался приговорить налитое к употреблению внутрь, как увиденное им передёрнуло всё его существо. Ангел цедил водку мелкими глотками. При этом морщился и давился, будто это был не райский нектар, а вонючая касторка.

– Что ты её мучаешь?! – возмутился Кузьмич.

Ангел оторвался от рюмки и непонимающе захлопал глазами.

– Этот продукт требует мгновенной атаки, а не осады. Только сокрушительный залп до полного уничтожения. Смотри! – выпалил Кузьмич, и одним уверенным жестом лихо опрокинул содержимое рюмки себе в рот.

– Здорово! – восхитился Ангел.

– Это ещё что, так – баловство, – заскромничал слесарь. – Вот у меня в семнадцатом году ротный был, так тот пил так пил, одно загляденье – просто песня. Пил так, будто на врагов хаживал, до полного уничтожения. Жаль, погиб, когда в семнадцатом Зимний брали. Понимаешь, мальчика пожалел, не дал юнкера на штыки поднять. А он ему вместо «спасибо» – пулю в живот всадил. Так, даже умирая, ротный матросикам наказал, чтобы они его не кончали, а налили ему водки. И чтобы эта белогвардейская сволочь вместо ружья лучше стакан научилась держать. Словом, геройский был человек! – Кузьмич смахнул слезу. – Давай выпьем ещё по одной, чтобы между первой и второй пули не просвистела, – предложил он.

Ангел понимающе кивнул и налил себе половину рюмки, что не ускользнуло от внимания слесаря и задело его душевные струны.

– Нет, нет и ещё раз нет! – возмутился он содеянным. – Рюмку надобно наливать до краёв, дабы жизнь была полной и богатой, и выпивать обязательно до дна, до последней капли. Этим ты выражаешь уважение как к гостю, так и к хозяину, и то, что не держишь на них никакого зла.

Они разлили по полной. Чокнулись, и, не оставляя времени для пули, дружно выпили всё до единой капли одним глотком.

Кузьмич побродил взглядом по столу, но теряясь в выборе закуски, так ни на чём конкретном и не остановился.

– Ты закусывай, закусывай, – подбодрил Ангел, видя замешательство слесаря. – Вот, рекомендую витамины «а ля натюрель»... – Он пододвинул к нему вазу с овощами и фруктами.

Кузьмич вяло заживал выпитое листом зелёного салата.

– Вот у тебя всё на столе есть, глаза разбегаются, но всё-таки чего-то не хватает.

– Это чего у меня-то не хватает? – обиженно спросил Ангел.

– Ну как её?.. – Слесарь защёлкал пальцами, но, так и не вспомнив, махнул рукой. – Ладно, потом скажу, – уверил он.

– Может, что не так? – забеспокоился Ангел. – Ты скажи или, может, попросить о чём желаешь?

– Теперь давай выпьем за то, чтобы между второй и третьей вражеский штык не пролез, – выдал Кузьмич.

Они сомкнули рюмки, не оставляя шанса и штыку.

– Вот никто нас, мужиков, не понимает, – слесарь ударил себя в грудь кулаком, – а ведь когда мы пьём, мы как щит. Ни одна интервенция нам не страшна. Ничто не просвистит, ничто не пролезет, – заключил он.

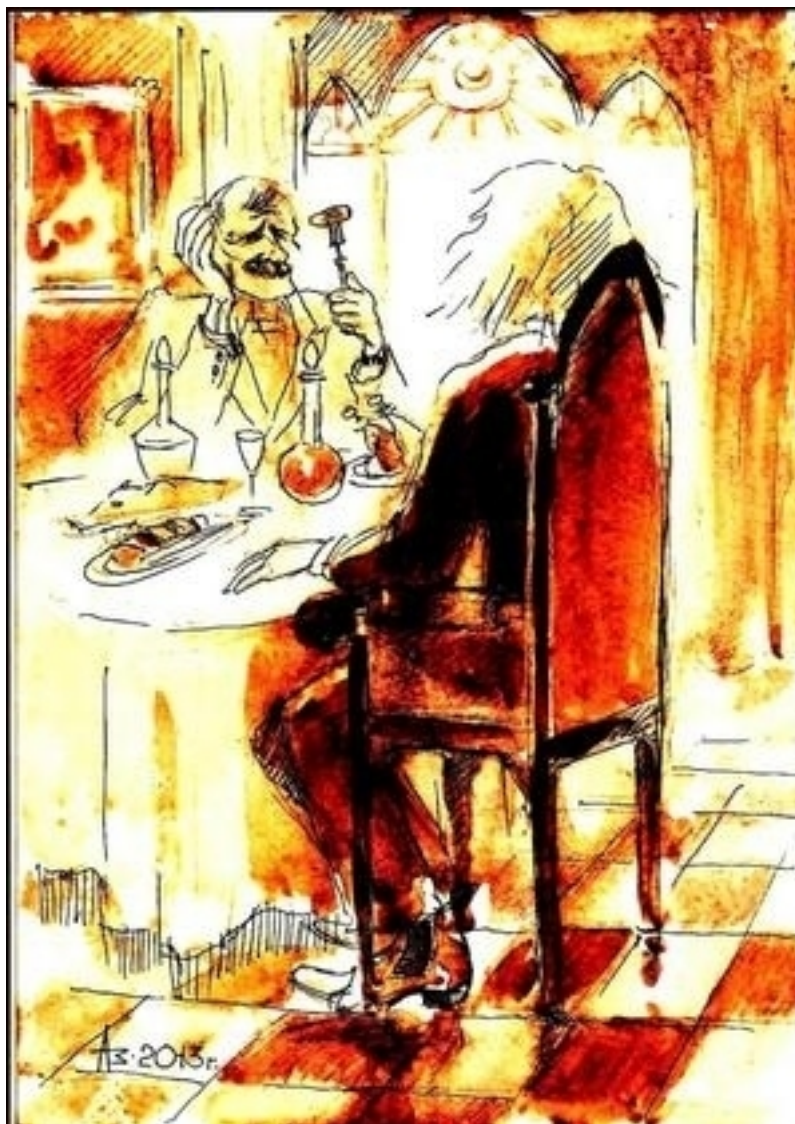
– А птица пролетит? – спросил Ангел.

– Птица – это символ мира, пускай себе летает, – пояснил Кузьмич.

– А ангел?

– И ангел тоже пусть летает, а самолёт ни-ни! – Слесарь врезал ребром ладони по столу. – Нельзя! Не допустим, чтобы он бороздил наши небесные просторы. Дадим отпор! Альберт, дадим там всяким разным отпор?

– Дадим! – поддержал Ангел.



И они дали отпор, закусив на сей раз малосольным огурчиком. Кузьмич пристально посмотрел на Ангела.

– Опять что-то не так? – забеспокоился Ангел под прицельным взглядом слесаря.

– Ты не обижаешься, что я тебя Альбертом зову, а то кто вас, ангелов, знает? Затаишь ещё на меня обиду, а я ведь от чистого сердца: что думаю, то и говорю. Понимаешь?! Уж очень ты похож на великого физика. Ну, прямо как две капли воды.

– Да зови меня как хочешь, только самолётом не называй!

– Святой... – с восхищением прошептал Кузьмич. – А давай выпьем на брудершафт – будешь мне братом, а я – тебе.

Предложение слесаря было встречено с пониманием. Они выпили, обнялись и троекратно облобызались в щёки.

– Добрый ты, Альберт, от смерти нас спас. Не открой нам дверь в галерею, то был бы всем капут, – слесарь провёл большим пальцем по горлу, – стенки не миновать. Вот скажи мне, брат, у нас русское гостеприимство, а у вас какое – ангельское?

– Да, – согласился Ангел, – но, смотря, опять же, кому. Достойным – «Да», а недостойным – «Но пасран».

– «Но пасаран», – поправил Кузьмич, – как это ты правильно сказал, аж дух захватывает. Раньше-то я думал, что только два гостеприимства есть: сыр в мышеловке, да наше – русское.

– Как это понять? – заинтересовался Ангел.

– Первое – оно и без слов понятно: халявы за «спасибо» не бывает, – начал объяснять слесарь, – второе же просто, как теорема Ферма, лежит в загадке русской души. Мы гостям всегда рады, а если гости ещё и свои в доску, то и подавно. Распахнётся душа, как меха гармошки, запоёт, понесётся в рай. Всё на стол мечи, до последнего огурца, ничегошеньки не жаль. Ну а если уж нет ничего, то с себя рубаху последнюю отдашь. Короче, полное радушие и понимание. Соображаешь? Потому что каждая хорошая пьянка, она, брат, как последняя.

– Слушай, брат Кузьмич, – Ангел хлопнул его по плечу, – а сделай мне такую же татуировку, как у тебя.

– Понравилась? – расплылся в улыбке Кузьмич.

– Ещё бы. Впечатляет!

– Конечно, сделаю, брат Альберт, – согласился слесарь. Но после недолгого раздумья развёл руками: – Извини, нельзя. Ты же вроде как лицо духовного звания, из лагеря идеалистов будешь, а не материалистов, – рассудил он.

– Да, – с сожалением согласился Ангел, – нельзя.

– Знаешь, я тебе другую наколку сделаю, да такую, что все ахнут. – Кузьмич, почёсывая затылок, задумался.

– Какую? Какую? – оживился Ангел.

– Отца, сына и Святого Духа! – выдал счастливый Кузьмич.

– Да ты что! – всплеснул руками изумлённый Ангел. Затем он, схватив одной рукой пустую тарелку, стал обмахивать себя ею, как веером, другой рукой схватил графин с водой и сделал большой глоток, недопитое же вылил себе на голову. – Ну ты, брат, даёшь! – наконец выдохнул он, мгновенно трезвея. – И как ты себе это представляешь? Ты хоть знаешь, какие они?

– Догадываюсь! Наверное, такие же, как и те, что тут изображены, – слесарь ударил себя в грудь кулаком, – но только вид не в профиль, а анфас. Ну а если я ошибаюсь, Погодин поможет, он у нас всё знает. Да и ты, если что, подскажешь!

– Нельзя! – сник Ангел.

– Почему? – спросил раздосадованный Кузьмич.

– Грешно, другие ангелы за подхалима сочтут. Решат ещё, что я лизоблюд.

– Как это у вас всё не по-людски, у нас за такой «натюрморт» тебя как борца за идею сочтут. Ладно, ты главное духом не падай, нельзя так нельзя. Ну, тогда я тебе тельняшку свою на память подарю. Я в ней в семнадцатом на Зимний хаживал.

– Идёт! – одобрил Альберт. – Кузьмич, а ты партийный?

– Нет, но я порой выполнял ответственные поручения. За «Столичной» хаживал в магазин, так что какой-никакой, а партийный опыт у меня есть. – Вдруг Кузьмич засиял, как начищенный самовар: – Вспомнил! Вспомнил! – Он ткнул вилкой в лежащую на блюде рыбёшку, украшенную зеленью и дольками лимона. – В этой кильке нет томатного соуса, – констатировал слесарь.

Ангел склонился над анчоусами.

– Действительно, нет! – согласился он. – А зачем?

– Так это же самый смак. Язык проглотишь!

– И где же его взять этот самый смак?

– Там есть! – Кузьмич замахал куда-то рукой.

– Где там? – Ангел огляделся по сторонам.

– В нашем «Продмаге» есть килька в томате, – расплылся в улыбке слесарь. – Слушай, есть идея! Погодина попросим в него дверь на стенке намалевать, чтобы мы за ней туда-сюда, туда-сюда.

– Нет вопросов, – поддержал идею Альберт.

– Только домой за деньгами сначала надо заскочить. Товар – деньги, деньги – товар. Этого ещё никто не отменял. Это, брат, целая наука. «Капитал» называется.

– Как интересно... – Ангел покачал седой головой.

– Послушай, брат Альберт, вот меня вопрос мучает. Объясни ты мне, как художник художнику, почему у вас галерея, а не музей, в чём тут разница?

– Всё очень просто. У нас выставляются только картины, а в музее всякого разного чуда со всего света собранно. Ну, это как маленький «Продмаг» и большущий «ГУМ». Если в первом случае в нём предложены только продукты, то во втором намешана всякая всячина. Я доходчиво объяснил?

– Да, лучше чем художник художнику, прямо скажем – как знающий своё дело лектор.

– За понимание! – сказал Ангел, поднимая очередную рюмку.

– Может, споём, – предложил Кузьмич.

– Споём, – одобрил Альберт. – Только давай такую песню, брат Кузьмич, чтобы чертям тошно стало. У тебя есть такая?

– Конечно, есть, – воспрянул духом слесарь и, не раздумывая, запел:

Наш паровоз, вперёд лети.

В Коммуне остановка.

Другого нет у нас пути —

В руках у нас винтовка.

Его приятный баритон выводил любимую песню. При этом Кузьмич старательно грохотал по столу кулаками, изображая перестук колёс, летящего вперёд этого самого паровоза.

Таким вдохновенным исполнением песни Ангел был потрясён. Он схватил рядом стоящий торшер, увенчанный зелёным абажуром, и стал им семафорить, давая свободный путь мчавшейся могучей железяке с серпасто-молоткастой звездой, за которой клубами дыма и паровозными гудками тянулась прокопчённая на баррикадах песня. И главный машинист Кузьмич со счастливым, одухотворённым лицом и со слезами на глазах, поддавая пару, вёл паровоз в такую далёкую, недостижимую коммунию.

Эта самодеятельность могла продолжаться вечно, если бы Ангел не опустил шлагбаумом руку. Кузьмич прервал песню и, издав протяжный гудок, остановил паровоз.

– Есть идея! – широко улыбаясь, сказал Ангел. – Зачем нам просить Погодина? Мы и без его творчества можем за смаком слетать туда-сюда.

– Ну, ты голова! – просиял слесарь. – А как это?
– Как всё гениальное, – заскромничал Альберт. – Как в шахматной партии – мат в два хода.

– Стой, стой, – замахал руками Кузьмич. – Только всё это сделать надо завтра утром. Понимаешь, сейчас в «Продмаге» собрание идёт, а это, брат Альберт, очень ответственная вещь. Одно слово – политика.

– Считай, что оно уже наступило!

– Что?

– Утро!

– Да ты просто чудотворец! Ну почему у нас у людей всё не так, как у вас, ангелов: раз тебе – и пожалуйста, всё готово! Мы пыжимся, пыжимся пятилетку за пятилеткой. Всё строим и строим светлое будущее, однако конца и края не видно, – с какой-то горечью в голосе сказал Кузьмич. – Понимаешь, обида душит.

Ангел пожал плечами:

– Наверное, всё дело в том, что у вас, у людей, одна большая задача на всех, архиважная задача: новый мир построить. Это же попробуй-ка этакую глыбу сдвинуть – пупок развяжется. А здесь всего лишь одно маленькое желание. Чего нам слетать туда-сюда, так – пустячок!

– И как же мы её решим? – взволнованно загорелся идеей слесарь.

– Ты только на минуту закрой глаза и подумай о чём-нибудь хорошем... Ну, скажем, об этом самом смаке в томатном соусе.

– Всего-то, понял! Но тогда, перед дорогой, надо обязательно принять на посошок.

– Что значит на посошок?

– Это такая традиция. Прежде чем уходить из гостей, всегда поднимается последняя рюмка на дорожку. Чтобы путь был лёгким и коротким.

– Надо же... – Ангел с пониманием кивнул. – Это ж сколько у вас хороших традиций.

– О-о-о, брат, если всё вспоминать, то и дня не хватит. Традиции – это святое, почитай как заповедь.

Слесарь наполнил рюмки от души, с горочкой, не пролив ни капли на стол. И под лимонные дольки с монастырской слезой было покончено.

Они встали из-за стола, Кузьмич довольно потёр руки.

– Вот и славно, теперь можно и в путь!

– Сей момент будет исполнено! – сказал Ангел.

И не успел слесарь моргнуть, как они уже стояли на лестничной площадке его дома.

Глава 5

Как Стародубцев оказался в подъезде, он так и не понял – всё произошло мгновенно.

Иван достал носовой платок, промокнул им выступившую на лбу испарину, огляделся и обмер. Его окружали отнюдь не «родные пенаты» – он стоял перед ржавой дверью с надписью: «Вход в убежище». Массивная железка была опломбирована и трижды опечатана, изолируя доступ к опальной мастерской. Ступени лестницы, были исчерчены подошвами сапог. В нос бил запах кирзы и гуталина.

От мысли, что дом всё ещё окружён, у Стародубцева потемнело в глазах. Он качнулся и упёрся ладонью в холодную и влажную стену, но тотчас брезгливо отдернул руку.

– Пошли бы вы куда-нибудь подальше со своими фокусами! Фокусники! – со злостью процедил он сквозь зубы.

Внезапно в душу Ивана вторглось сомнение: правильно ли он сделал, что бесповоротно решил вернуться домой. И что сейчас здесь, в этой ситуации, собственно лучше – сдать на милость властям, или всё же отсидеться в подъезде. И то и другое ему показалось чем-то нелепым. «Почему, собственно, сдать?» – задал он себе вопрос. «Ведь я ничего противозаконного не делал, а становиться заложником этих стен – значит признать несуществующую вину». Вроде бы всё ясно и понятно как божий день, но всё равно его что-то угнетало и мучило. Он стоял в нерешительности – сделать хоть шаг казалось ему невозможным. И в то же время Стародубцев ощущал давление этих гадких стен, ему хотелось бежать из подъезда.

Душевные метания Ивана прервала хлопнувшая где-то выше на этажах дверь. И мрачный подъезд ожил. Кто-то быстро стал спускаться по лестнице вниз, безжалостно забивая каждым своим шагом гвозди в закружившуюся голову Стародубцева. Он зажмурился, стараясь почти не дышать.

«Сейчас меня увидят, увидят, – стучало у него в висках, – и что дальше, Боже, неужели выдадут? А может, пройдут мимо и не обратят внимания?»

Шаги приближались. Стародубцев вжался всем телом в эту мерзкую, отвратительную стену.

– Вам плохо? – услышал он детский голос.

Внутри у Ивана всё оборвалось. Он открыл глаза – перед ним стоял подросток.

– Боже мой, Боже мой. Что же это такое? – прошептал живописец.

Ноги его подкосились. Опираясь о плечо мальчишки, он опустился на колени.

– Вам врача вызвать? – сочувственно предложил подросток.

Стародубцев прижал к глазам ладони, и они вдруг показались ему жёлтыми листьями. Его знобило, будто за порогом был не тёплый май, а стояла глубокая осень. Иван отрицательно покачал головой. Мальчишка пожал плечами и вышел на улицу.

Стародубцев попытался встать, но ноги его не слушались. Отдышавшись с минуту, он всё же встал и, шатаясь, покинул злосчастный подъезд.

Во дворе не было ни души. Иван присел на скамейку, опустошённый и уставший, он долго не мог прийти в себя от всего случившегося. Его взгляд отрешённо бродил по безликим однообразным фасадам пятиэтажек, по качающимся от ветра верхушкам деревьев. В голове то и дело воскресали картины сегодняшнего дня. Он то ёжился, то покачивался из стороны в сторону как маятник, словно пытаясь избежать чьего-то пристального взгляда.

Лишь только тогда, когда прохладный вечер окутал сумерками дома и лёг седой поволокой тумана на дышащую теплом землю, нервное напряжение спало. Улеглась и успокоилась внутренняя дрожь. И какое-то ленивое безразличие ко всему умиротворённо заполнило душевную пустоту.

Вдруг Стародубцев ясно услышал чей-то глухой голос, какой-то далёкий и в то же время звучащий совсем рядом. Будто невидимый ворчун втемяшивал в голову то, о чём он сейчас думал, но боялся себе в этом признаться.

– Никуда ты не денешься, – бурчал голос, отгадывая его мысли. – Ну же, ну... Ты здесь ни при чём, это всё он, и всё это только из-за него. Надо идти самому и обо всём рассказать. Всё равно рано или поздно за тобой придут.

Но ворчун не договорил, кто именно во всём виноват и кто за ним придёт. Иван и так всё прекрасно понимал, без каких бы то ни было объяснений.

Стародубцев вздрогнул от ощущения, что проваливается в какую-то бездну. И, очнувшись от этого наваждения, поймал себя на том, что разговаривает с собой.

Уставший и разбитый после бессонной ночи, он добрался домой только под утро. Переступив порог своей квартиры, живописец почувствовал себя в ней, как в бумажной крепости, в которой невозможно найти надёжного укрытия.

Иван вошёл в комнату, плотно задёрнул шторы, присел на стул и, вслушиваясь в звуки, доносившиеся с улицы, закрыл глаза. Воспалённое воображение рисовало ему отнюдь не радужные картины.

Глава 6

Погодин вошёл в картинную галерею. Большой зал был отделан мрамором. Высоко над головой парил огромный, из голубого хрустала, куполообразный потолок, инкрустированный золотыми звёздами. К его удивлению, здесь не было ничего, что говорило бы о художественной выставке. Зал был пуст.

Семён, затаив дыхание, вслушивался в тишину, чувствуя каждой клеточкой своего тела чьё-то присутствие. И этот кто-то тоже молчал, ничем не открывая себя.

Настало долгое мучительное ожидание. Время дремало, замедлив свой ритмичный ход, растягивая минуты в часы, а часы делая вечностью. Ночь вступала в свои права, набросив чёрную вуаль на всё окружающее. Контуры предметов теряли очертания. Расплываясь и принимая причудливые формы, они исчезали в темноте.

От нервного напряжения в висках стучала кровь. И всё же этот кто-то наконец смилостивился, отступил, не стал назойливо досаждать игрой в прятки. Лишь лёгкое, едва уловимое движение воздуха то ли от взмаха крыльев, то ли от плаща, нечаянно выдало его исчезновение, оставив Погодина наедине с собой.

Тишина приобретала звучание. Будто откуда-то из далёкого, давно забытого прошлого стал доноситься органнй аккорд. Он тянулся, переключаясь в тревожном созвучии с громогласным раскатом бывшего в набат колокола, с надрывным переливом церковного хорала.

То вдруг в воздух взмывал одинокий голос, подхваченный эхом, и, кружась, уносился под купол небесного свода к россыпям мерцающих звёзд. Там, настигая себя самого, голос растворялся в колыбельной песне, убаюкивающей чей-то детский плач.

То, срываясь с высоты, он падал, разрывая отчаянным криком ночь. Разбившись о мраморные плиты, неумолимо ждавшие внизу, крик разлетался в истошном вопле, обнажая свою беспомощность. Давясь и захлёбываясь слезами, он переходил в хриплый стон, полный мольбы о помощи и страха перед смертью и тёмной беспредельностью, в которой нет надежды.

Вдруг до Погодина долетел шёпот, тихий-тихий, как едва уловимое дуновение ветерка. Будто на цыпочках, через снега времени, через пространство, эхо робко донесло чью-то поминальную молитву. На мгновение он замер, прислушиваясь к самому себе.

Необъяснимая смутная тревога, разрастающаяся, словно плесень, несла томящее предчувствие неизбежного столкновения с неизвестностью. Притягивая невидимыми нитями, она завораживала. Трепет перед ней оплетал сознание ледяными щупальцами и уже не отпускал никуда от своей воцарившейся власти.

Внезапно липкую темноту, как бритвой, полоснула молния. Раскаты грома прокатились оглушающей волной, и всё разом смешалось в безумном хаосе. Теперь Семён не слышал ни гулко перезвона колокольной меди, ни трубных звуков в переливах органа. Над залом повис монотонный гул, давящий на уши, пронизывающий мозг резкой нестерпимой болью. Пространство вокруг него стало сжиматься. Ошеломлённый, он прижался к стене, крошечная темнота вновь упала на плечи.

Протяжный гул вдруг потянулся вверх до самой высокой ноты и резко оборвался перетянутой струной. И зал озарился ослепительно белой вспышкой света. Воздух задрожал и сгустился в плотную кисею, серебриющуюся, как зеркало. И на ней, словно на огромном экране, стали проецироваться картины.

Время будто распахнуло своё пространство, извлекая из глубин веков работы великих мастеров и неизвестных авторов. В этом параде бесценных полотен отражались эпохи, художественные направления, бурлящие страсти, глобальные перемены – всё то, что происходило до и после Рождества Христова. Однако же что-то было не так в этих картинах. Они были

совершенно другими, не теми прирученными музейными экспонатами, пылящимися в конуре золочёных рам.

Погодин буквально раздваивался. Одна его часть оставалась замороженным наблюдателем происходящего, потерявшая ощущение времени, другая же в смятении спешно силилась понять произошедшие с картинами преобразования. Вдруг показалось, что он заглянул за черту откровения, где всё тайное становится явным.

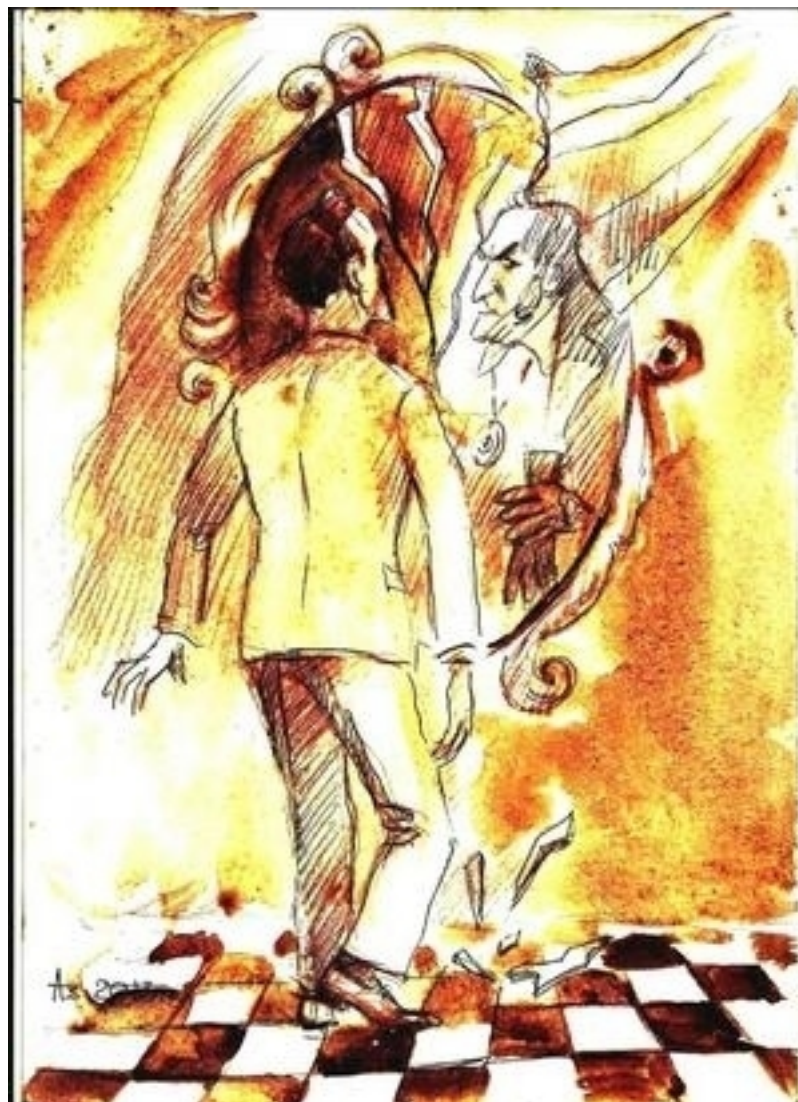
У Семена будто открылись глаза. Ответ пришёл сам собой. Вроде бы картина закончена, но по окончании работы, спустя какое-то время, появляется чувство её незавершённости, недосказанности, неудовлетворённости. И тогда кистью художника становится его воображение. Оно продолжает творить и дальше, что-то дополняет, изменяет. Так, проходя путь очищения, работа приближается к непогрешимой истине. И сейчас он видел перед собой плоды совершенства, достигнутые вдохновением мастеров. Он будто стал свидетелем судного дня, где перед ним картины открывали свою душу, ранее завуалированную под пафосным слоем красок.

Внезапно от центра этого зеркала, где происходила вся феерия, разбежались радужные круги, и в нём отразился коридор. Он словно длинный рубленый колодец протянулся вглубь зазеркалья прочерченными квадратами множества других зеркал. Там в его чреве что-то заворочалось. И Семён вскоре разглядел очертания младенца, тянувшего к нему ручонки. Поднявшись на ещё не окрепшие ножки, малыш пошёл по коридору, направляясь к смотревшему на него Погодину. По мере приближения неуклюжие шажки становились всё более уверенными, теперь уже ребёнок спешил, учащая шаг, вскоре перешедший в бег.

Семён теперь ясно видел, как встречный ветерок трепал золотые кудри волос, открывая уже юношеское лицо. Приближаясь всё ближе и ближе, юноша простирал к Погодину руки, словно желая заключить его в объятия.

Юношеское лицо изменялось с каждым движением, черты мужали, выросли, и, наконец, перед художником предстало его собственное отражение.

Через минуту оно стало медленно таять и вскоре исчезло, а на его месте из темноты неожиданно появился исчезнувший портрет незнакомца. Слезающиеся глаза на портрете прищурились из-под насупленных бровей и окружились россыпью морщин. Взгляды Погодина и незнакомца встретились.



Семён вздрогнул, холодок пробежал по спине и обдал жаром. Кроме этих глаз, казалось, в мире не существовало больше ничего – кругом только пустота и пара глаз, смотрящих в упор, бездонную глубину которых он узнал бы из тысячи.

Незнакомец сделал жест рукой, приглашая художника подойти ближе. Погодин прильнул к ледяному глянцу стекла.

Вдруг глаза, смотревшие из зазеркалья, слились в один, который стал разрастаться в большое пятно. Теперь Погодин видел сияющий клочок неба, звонкий, головокружительный, чудесно голубой, вобравший в себя чистоту ручьёв и озёр.

Семён, не отрывая взгляда от происходящего чуда, буквально тонул в нём, впитывая его синеву.

Яркий луч солнца рассёк лазурную гладь, и небо распахнулось, словно створки ворот, открывая холодный провал бесконечности, по которому простиралась залитая серебряным светом лунная тропа. И чем дальше тропа уходила в зияющую глубину чёрного бархата, тем тоньше и прозрачнее она становилась. И всё то, что было снаружи, и то, что оставалось внутри, отделялось зеркалом – так же вечно и непреложно, как вчерашний день отделяется от сегодняшнего.

Погодин ударил рукой в эту преграду, в этот барьер, в эту границу бытия. Зеркало разлетелось вдребезги, ослепляя разноцветным каскадом брызг. Поток холодного ветра хлынул в лицо.

У Семёна перехватило дыхание. Выступившие слёзы жгли глаза. И вдруг он ощутил необыкновенную лёгкость. Будто с плеч упали свинцовые гири. Необъяснимая внутренняя свобода разлилась по всему телу тёплой волной. Охваченный безумной догадкой, Погодин ринулся в зовущую бездну. Подхваченный то ли неведомой силой, то ли порывом ветра, он взлетел. Щемящая сердце смутная тревога и опьяняющее чувство полёта слились воедино.

Он летел птицей, окунаясь в купель звёздного света, кричал и рыдал, как маленький ребёнок, только что явившийся на свет.

Тьма распахнулась, уступая ему дорогу, и окутанный колыбелью пространства, поднимаясь всё выше и выше, он уносился по серебряной тропе, ведущей к преддверьям великого таинства.

Глава 7

За окном зарождался день. Небо на востоке разгоралось, загоняя в подвалы Москвы ночь. Первые томные лучи солнца тронули позолотой крыши домов, скользнули в лабиринты улиц, забрезжили на окнах.

Проникнув через прокуренный желтоватый тюль в жилую комнату, служившей также и писательским кабинетом Сумелидию И. С., лучи коснулись пушистых ресниц литератора, и ласково лизнув его чело, окропленное утренней испариной, отбросили греческий профиль на умопомрачительные обои в каштановую полоску, сплошь усаженную лавровым листом.

Иракий Сократович мирно посапывал, развалившись в кресле-качалке, служившем ему в литературных потугах седлом Пегаса. Он причмокнул, слизнув с губ влагу пущенных во сне слюней и открыл воспаленные глаза. Затем Иракий встал, судорожно зевнул и на цыпочках проследовал в угол комнаты, куда им были брошены домашние тапочки в попытке спугнуть серого грызуна, бесцеремонно явившегося после полуночи. Запахнув в них ревматические ноги, он зашаркал к письменному столу, зелёное сукно которого всё сплошь было изгажено чернильными кляксами. Сумелидий взял из сахарницы ложечку, аккуратно извлёк из фаянсовой чашки фамильным серебром изрядно насытившуюся вчерашним чаем разбухшую муху, и несколько не смущаясь утопленницы, отхлебнул глоток.

В этот тихий ранний час, когда в открытую душной ночью форточку, ещё лениво потягиваясь, выползла на улицу утренняя сладкая дрема, когда настенные ходики, мерно тикая маятником, ещё не разбудили ото сна кукушку, в дверь оглушительно забарабанили. Да так, будто в неё с треском ударил гром, и его раскаты дребезжащим эхом заметались по комнате, заухали в углях.

Иракий похолодел. Ходики зажужжали пчелиным ульем, и стрелки часов рванули по кругу. Очумевшая кукушка вылетела, как ужаленная, из-под стрешни домика и зашлась в надрывном крике, будто контуженная взрывом гранаты утка.

– Тихий ужас! – проливая на стол остатки чая, прошептал слабеющий в ногах Иракий Сократович.

Казалось, что этому кошмару не будет конца, но грохот всё же прекратился. Кукушка, оборвав крик, повисла на пружине, печально покачиваясь безжизненной тушкой.

– Это я, ваша соседка, Вихляева, – раздалось за дверью.

– Не спится?! – проскрипел зубами Сумелидий, но подумал отнюдь нецензурно. Зло сплюнул и добавил: – Прости Господи!

– Никак разбудила? – послышалось из коридора слабое извиняющееся мурлыканье.

– Разбудила, разбудила... Пожар, что ли? – раздражённо пробухтел Иракий, вытирая со стола лужу подолом халата.

– Хуже! Гораздо хуже! – ответила соседка, будто расслышав его причитания. – И откройте, наконец, дверь, не томите женщину ожиданием!

Освежая лицо мокрым подолом, Сумелидий пошлёпал открывать входную дверь.

На лестничной площадке стояла унтер-офицерская вдова глубокого бальзаковского возраста. По молодости гражданка Вихляева работала заместителем администратора Большого театра, но будучи давно уже на пенсии, перешла на службу в Малый – билетёршей.

– Слышали вчерашние новости? – начала она с порога.

– Да я и сегодняшних-то ещё не слышал, – замотал больной головой Иракий.

– Не мудрено, так всё на свете проспите. Вот и врагов под боком проспали!

– Каких врагов? – опешил Сумелидий.

– Вчера в нашем доме фальшивомонетчиков ловили. Правда, никого не поймали, они как сквозь землю провалились, но факт остаётся фактом. И сосед ваш по коммуналке, Андрей

Кузьмич, куда-то тоже подевался. Он, случайно, не у себя дома? С самого утра ищу его, под-
леца!

– Так вот оно что! То-то со вчерашнего дня в его комнате тихо было, никаких признаков
жизни и завываний про «Паровоз» и «Смело, товарищи, в ногу» не доносилось. Это наводит
на мысли...

– Значит, отпелся голубь, – с горечью в голосе вздохнула Вихляева. – А у меня холодиль-
ник сломался.

– А при чём тут холодильник? – изумился Ираклий.

– Так Кузьмич починить его обещал. Я даже ему авансом четверть литра чистейшего
первача дала.

– Сочувствую!

– Позвольте спросить, над чем вы сейчас работаете, или, фигурально выражаясь, чер-
вячка литературного чем заморить решили? – поинтересовалась соседка.

– Да так, ерунда, всякое разное. Себя бы прокормить, не то, что червячка.

Вихляева заглянула в глаза Ираклия Сократовича.

– Кстати, вы завтракали? – И, не услышав утвердительного ответа, продолжила: – Вижу,
что нет! Я знаю, вы редьку любите, так вот, я могу вам предложить сыр с очень пикантным
душком, ни в чём не уступающим редьке.



Ираклий скривился:

– Благодарю, знаете ли...

– Так я не поняла: «да» или «нет»? Что Вы всё как-то не договариваете?

– Скорее «нет-с», чем «да». Я, видите ли, с утра только яйца сырые пью.

– Фу-у-у-у! Гадость какая! Терпеть не могу! Б-р-р-р... – на сей раз скривилась Вихляева. – Кстати, о яйцах. На днях у нас в театре забавный казус приключился.

– Спасибо, но в другой раз расскажете, меня, понимаете ли, дела ждут.

Показывая, что разговор окончен, литератор двинулся на неугомонную соседку грудью.

– Ну что вы, что вы, послушайте, исключительно занятая история. Только представьте себе: осветитель сцены Горбатов, просто душечка, что за прелесть, сердобольный такой мальчишечка, ну лапочка-лапочкой, – чмокнула воздух Вихляева. – Когда напакостит, всегда краснеет, как невинная роза. Так вот, он был подкуплен Анджиевским, тем самым, который с треском провалился на премьерке. Бездарность! Поганец из поганцев! Естественно, его роль отдали другому, а он в отместку за это, на второй показ, яйца тухлые принёс, и Горбатов подавил их за сценой. И по мере распространения запаха зрители стали выбегать из театра, а актёры требовали прибавку к зарплате за работу во вредных условиях. Искали инженера по гражданской обороне, но не нашли. Назревал скандал. Дело приобретало скверный характер.

– Закрыли театр? – участливо поинтересовался Ираклий.

– Нет! – рубанула Вихляева.

– Х...м...м... Разогнали труппу? – предположил Ираклий.

– Нет! Нет! И ещё раз нет! – Она встала на мыски, сравнившись ростом с литератором, ткнула его пальцем в лоб, отчего бессонные глаза Ираклия скользнули к переносице. – Думайте! – прошептала она. – Работайте мозгами.

– Ума не приложу... – развёл руками Сумелидий.

– Всё гораздо проще, любезный. Вы явно переспали. У вас леньность воображения. Представьте себе, позвали меня, и я всех научила пользоваться противогоазом. Меня ещё в Первую мировую войну мой покойный муж, Василий Данилович, этому обучал. Вот так-то.

– Что вы говорите? – артистично изумился литератор.

– Да, да. И тот час все вопросы были сняты, а меня премировали билетом в зоопарк.

– Поздравляю! – выдал некое подобие улыбки Ираклий. – И как же вы после всего этого добрались домой?

– О-о-о, не волнуйтесь. Я, будучи юной, когда расцветала, как душистая фиалка, брала уроки борьбы у самого Ивана Поддубного. Так что за себя постоять я смогу. Хотите, что-нибудь покажу?

– Нет, нет, – шарахнулся в сторону Ираклий, – как-нибудь в другой раз.

– Так вы точно сыру не хотите, а то я принесу?

– Нет, нет! Мне работать надо, – замахал руками Сумелидий.

– Да бросьте, знаю я вас, скромнягу! Вы всё с душком любите.

– Боже упаси! Я понимаю вашу заботу, но каждому – своё. Я сыра, пардон, терпеть не могу, любезная вы наша! У меня от него изжога. А за новость – спасибо! Приму к сведению.

– Не то что примите, а запишите себе вот здесь, писака, – сказала Вихляева и опять ткнула его пальцем в лоб.

– Что вы всё в меня тыкаете, как хлебный мякиш на свежесть проверяете, – возмутился писатель.

– Не льстите себе, вы непробиваемый толстокожий сухарь, – сказала соседка и, гордо подняв голову, удалилась к себе домой.

Глава 8

Ираклий захлопнул дверь, прошёл в свою комнату, сделал глубокий вдох и ощутил, как на душе становится легко и даже как-то радостно. Разом ушли мысли, так долго отягощавшие его, будто внутри ослабла взведённая пружина.

«Главное, все счастливы», – подумал он. «Одни счастливы, что не попались, другие – что отделались всего лишь испугом, третьи – что разнесли эту новость, а я счастлив по-своему». – Он потёр руки и расплылся в счастливой улыбке. Но перед ним, как ложка дёгтя в бочке мёда, всплыл недавний конфликт с художником Погодиным.

В одной из центральных газет вышла разгромная статья про Нобелевского лауреата по литературе. В ней интеллигенция, раболепно подражая Генсеку, изображая себя родом из народа, дубасила этого самого лауреата. Также на его примере литературная элита выравнивала в прямую линию партии извилины в мозгах сомневающих. Как литератор, в это праведное дело свою лепту внёс и Сумелидий. Будто в припадке паранойи, он гневно выписывал желчью каждую букву, требуя прополки сорняков в писательской среде, гражданской казни и высылки из Союза вчерашнего собрата по перу.

Правда после всеобщей горячки внутри у него что-то трепыхнулось и попробовало ему возразить: «Мол, покайся, ведь был же неправ, поддался стадному чувству». На что Ираклий топнул ногой и придавил происки слюнвявого гуманизма, оправдывая это тем, что сплочение рядов единомышленников никак не может быть табуном.

И вот при встрече Погодин швырнул ему в лицо газету и вдобавок дал краткое определение его критической стряпне, назвав Ираклия скотиной.

Сумелидий, избежав сатисфакции, затаил обиду. Пообещав себе в душе сжить со света инакомыслящего художника.

Мысли по этому поводу приходили разные, причём одна гаже другой. Они изматывали душу и портили изо дня в день ему кровь. Особенно остро мысли давали о себе знать по ночам, являясь чёрт знает откуда. Они бесцеремонно лезли в голову и там роились как мухи. От чего голова пухла и болела.

Ираклий пил снотворное, но оно не помогало. Как только веки начинали смыкаться, тут же появлялась совершенно новая, ни с чем ранее несравнимая по своей гадливости мысль и грозила ему пальцем в мутные от бессонницы глаза. То она дышала в затылок и вкрадчиво нащёптывала на ухо, как лучше обстригать это дельце.

И, наконец, в одну из таких бессонных ночей он сел за свой писательский стол, приглушил, всё той же газетой, свет настольной лампы, и написал свой первый донос.

Легко и быстро ложились строчки на бумагу. Они рождались не в творческих муках и не требовали вдохновения и выразительности. Всё было просто, как надпись на могильной плите. Он обвинил Погодина в измене и шпионаже. И опять где-то в нём что-то пискнуло: «Мол, не прав ты, Ираклий, ой как не прав!» Но литератор гневным «цыц» загнал этот протест глубоко внутрь себя.

Затем Сумелидий перечитал написанное и всё же не почувствовал ожидаемого душевного удовлетворения. Не хватало в этой лаконичности, какой-то изюминки. Пытаясь сосредоточиться, он встал, прошёлся кругами по комнате, перечитывая снова и снова свой пасквиль, уже вслух. Не помогло. Что-то мешало собраться с беснующимися в голове мыслями.

После четвёртого круга причина была обнаружена в шаркающих по полу тапочках. Негодяя, Сумелидий скинул их с ног и прошёлся босиком ещё пару кругов. И тут, то ли творческое чутье писателя соцреализма, то ли новая гадливая мысль шепнула ему в самое ухо, что не хватает в этой бумажке интриги и народного гнева. И вот здесь Ираклия наконец осенило.

Он незамедлительно бросился к столу, обмакнул перьевую ручку в чернильницу и, обляпав многострадальное сукно очередными кляксами, начал писать.

Его перо строчило со скоростью швейной машинки «Зингер», доводя до сведения компетентные органы, что мастерскую художника Погодина посещает очень странный человек, наружности явно не соответствующей советскому гражданину, о чём красноречиво свидетельствует его штатский костюмчик, который отнюдь не покроя фабрики «Большевичка» и ботиночки не фабрики «Скороход».

Далее Сумелидий дополнил, что Погодин ведёт отшельнический образ существования, что он не принимает участия в общественных мероприятиях жильцов дома, ни разу не пришёл ни на один знаменательный праздник труда – общесоюзный субботник. И что рисует он не картины, а валюту, о чём свидетельствует дверь его мастерской, выкрашенная в зелёный цвет.

И всё это сразу облегчило душу Ираклию, сделало ясной голову и сладким сон. Теперь он не представлял себе ни одного вечера, чтобы не черкануть на кого-нибудь какую-либо пакость. Панацея для крепкого сна была найдена. Материала для лекарства было предостаточно, куда ни взгляни, за что ни возьмись – целая аптека. Ничего не надо было высасывать из пальца.

Это были старые обидчики, кто давал ему до зарплаты 2 рубля 87 копеек на бутылку 40-градусного «Боржоми», а потом неустанно в течение года трепали нервы, требуя вернуть должок.

Время проходило, страсти утихали. Назойливое напоминание о деньгах сменялось пожеланием должнику сдохнуть от дизентерии, как засранцу.

Это и дворник, старый, выживший из ума татарин, рано поутру, в рассветной тишине, метущий своей поганой метлой улицу, нарушая этим выстрадавший сон Ираклия и собирая возле себя со всего квартала свору безудержно лающих бездомных собак, чтобы подкормить их костями из мусорного бака. Не пробиваемый ни просьбами, ни криком прекратить этот балаган, он доводил Ираклия до иступления, до хрипоты, до спазма в горле, до коликов в сердце, отвечая на всё, как забубённый: «Мать твоя, не понимать».

На уверения Ираклия, что он, доведённый им до отчаяния, вот-вот соберётся и вызовет живодёрню, дворник натягивал облезлую кроличью шапку, которую бессменно носил зимой и летом, себе на уши, отводил выщевшие глаза куда-то в сторону и кряхтел, а то ли жаловался кому-то: «Ох, дурень твоя, ну и дурень твоя».

Это вечно пьяный врач, мусолящий мундштук недокуренной папиросы, с болтающимся на ухе пенсне. Слушая у Ираклия трубочкой хрипы в лёгких, всегда спрашивал: «Всё литературите?» Получая утвердительный ответ: «Пишу!», он прищуривал один глаз и, как бы размышляя вслух, говорил: «Значит, пописываете... Наверно, немало бумаги переводите. Нет, чтоб её в дело то употребить. Но ничего, ничего, мы это поправим...»

Потом выписывал ему слабительного и напоследок всегда сетовал, что он родился уж очень поздно, не в то время, в какое хотел бы, жалея, что эти времена не времена инквизиции, было бы тогда от кого прикурить. И с песней «Взвейтесь кострами, синие ночи» удалялся за спичками к патологоанатому.

И это, конечно же, сосед по коммуналке, трижды проклятый слесарюга, Андрей Кузьмич, по которому, как считал Ираклий, уже давно тоскует Колыма. Мало того, что он устроил из своей комнаты слесарную мастерскую, так он тащил в неё с каких-то свалок всё то, что, по его мнению, ещё может послужить человечеству. С каждым днём этого добра становилось всё больше и больше. Вскоре оно загромождало не только его комнату, но и прихожую.

Последней искрой вспыхнувшей ссоры, стала дурно пахнущая огромных размеров кадка из-под огурцов. Кузьмич колдовал над ней два дня. И вот она, обитая листовым железом, установленная вверх дном на колёсный ход, с надписью: «Всё для победы» заняла место в коридоре. Слесарь торжественно окрестил своё детище пылесосом.

Ираклий восстал, требуя немедленно выкинуть эту дрянь, распространяющую зловонный запах по всей квартире и захламляющую проход. На что Кузьмич отчертил мелом границу своей территории, прилегающей к комнате. Передислоцировал на неё колёсную кадку и облил её одеколоном. К сожалению, это не дало ожидаемого результата. Перемирия с соседом не наступило. Затея провалилась. Вонять стало ещё более скверно, до тошноты.

Ираклий продолжал кипеть. Кузьмич пробовал оправдаться, что запахи не имеют границ. Клялся и божился, что этому пылесосу просто нет цены. Что это чудо-пылесосище является шагом к прогрессу, и он не может лишить человечество изобретения века. Но даже невооружённым глазом было видно, что его творение меньше всего походит на пылесборник с трубой, оно скорее напоминало башню броневика, установленную на инвалидную коляску с двигателем от трофейного мотоцикла.

Ираклий не внимал мольбам и настаивал на своём, чтобы Кузьмич убрал эту блудность с дулом неприлично большого размера.

Противостояние сторон быстро дошло до плевков в зоны обитания. Затем Ираклий перестал соблюдать очерёдность по уборке туалета. А потом и вовсе как бы про неё забыл. Кузьмич последовал его примеру. Туалет быстро превратился в газовую камеру. Теперь с одной стороны вонял пылесос, а с другой – душил туалет. Это ядовитое облако уже стало распространяться по подъезду. Посыпались жалобы от соседей. Тогда Кузьмич, выбрав из двух зол одно, взял молоток, гвозди – и заколотил дверь зловонного туалета. Ираклий пошёл дальше и законопатил дверь на кухню. Скоро в таких нечеловеческих условиях, жить стало просто невыносимо. В общем, ни поесть, ни по нужде сходить.

Первым капитулировал Кузьмич. Сначала он пробовал пристроить своё изобретение в Политехнический музей, но там его развернули в Музей революции. В музее его тоже не поняли, причём сказали, что этой допотопной кустарщиной он порочит доброе имя вождя пролетариата.

После долгих и напрасных мытарств со слезами на глазах Кузьмич всё же разобрал своё детище, куда-то отнёс и, сохраняя тайну, закопал. Затем он, скрепя сердце, навёл идеальный порядок в квартире, составил новый график уборки и ушёл в запой. По ночам он пел свою любимую песню про «Паровоз». А днём появлялся лишь согласно графику уборки, чтобы пройтись шваброй по местам общего пользования, сдать накопившиеся пустые бутылки, купить новые, и всё пил и пил. Так проходила неделя, вторая... И вот день пробуждения настал.

Кузьмич вышел из запоя, как из комы. Воспрянувший духом и с искрой в глазах, он будто вылез из окопа и сразу же ринулся, как в бой, по свалкам.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.